

Игорь Булката

Отделяя свет от тьмы

Рассказы

Кролик Цицерон

Полковник в отставке Вольдемар Пименович Сидоров на пятьдесят втором году жизни в очередной раз был выдворен из двухкомнатной квартиры в Сытинском тупике. Жена его Инесса Соломоновна, дамочка все еще привлекательная, но немного помятая по причине употребления горячительных напитков, проводила его до двери, держа на уровне лица, будто шприц с раствором, длинный янтарный мундштук с дымящейся сигаретой, качнула широкими бедрами, запахивая на груди синее атласное кимоно с золотыми иероглифами, и, выставив сводящее с ума полковнику колено, сказала:

— За барахлом, дружочек, зайдете завтра, а сейчас ступайте на х...! Не то участкового позову!

Участкового полковник не боялся. Он боялся потерять жену. Супругов мало что связывало, кроме общих привычек да мелких семейных тайн. Инесса Соломоновна грозилась участковым ради проформы, догадываясь, что полковник с ментом давно спелись. У них была общая застольная тема — Чечня. Хотя Вольдемар и не воевал, а служил снабженцем, рассказывал он про войну сupoением, брызжа пьяной слюной, и слушать его, в общем-то, было интересно. Иногда хвастался шрамом под мочкой уха, якобы его духи подстрелили. На самом деле полковник обменял в Ханкале вагон просроченной тушенки на сорок курдючных овец. Через три недели его выследили и накостили по первое число, порвали ухо, полковник еле ноги унес. Если бы захотели, зарезали бы как собаку. Словом, обошлось. Даже к награде представили. Порваным ухом и козырял полковник. Дочь их Полина, тощая девятнадцатилетняя девка с плоской грудью и большими ступнями ног, исхитрилась соблазнить какого-то модельера и укатила с ним в славный город Мюнхен. По словам Инессы, теперь ее фото печатают ведущие глянцевые журналы. Полковник никак не мог поверить в это, пока однажды супруга не ткнула ему в морду изданием, на обложке коего красовалась особа в черном пальто и шляпе. Он признал дочь по родинке на щеке. Ну и хрень с ней, — подумал полковник, — одним рылом меньше.

Булката Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. Прозаик, поэт, переводчик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Литературная Грузия» и др. Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

С некоторых пор он стал брить голову. Инесса сначала соглашалась для потехи намылить ему череп и соскоблить опасной бритвой остатки волос, но это ей быстро надоело. У полковника была собственная однокомнатная квартира в Ясеневе, на Вильнюсской улице, доставшаяся ему в наследство от родителей. Однако находиться там долго он не мог. То ли из-за запаха окурков, то ли из-за неприбранной постели на древнем разложенном книжкой диване, то ли из-за ободранных обоев и этажерки с пыльным рядом краденных из районной библиотеки томов Драйзера, Пикуля и Василия Белова, но атмосфера в комнате царила преотвратнейшая. Иногда полковник собирал у себя в квартире единомышленников — тех, кому была небезразлична судьба России. Приходил и друг детства Арсений Иванович Тетеря, здоровенный мужик с пивным животом и бабскими розовыми губами. У него, кстати, и перенял полковник манеру брить голову. Тетеря был доктором наук, писал умные книги на тему национальной идентичности и безвозмездно читал лекции всем желающим. Комната набивалась жаждущими пустить кровушки жидам и черножопым, а заодно и всем олигархам. Приносили с собой водки и пива. А закуску почему-то не приносили, хотя полковник предупреждал не раз, что у него нет холодильника и ему негде хранить колбасу с плавлеными сырками. Тетеря скреб коротенькими пальцами блестящий череп и негромким тенором рассказывал о том, как Путин ежеутренне проплывает у себя в бассейне два километра, что у него акции во всех нефтяных компаниях, а русские пухнут от голода.

— Ну ничего, — вздыхал он, — так долго не может продолжаться! Что-то должно случиться!

— А что именно? — заглядывали ему в рот соратники.

— Что именно? — переспрашивал Тетеря.

— Да, что именно?

— Гм! — многозначительно произносил лектор и закуривал папиросу «Беломорканал».

Итак, полковник не мог долго находиться в своей квартире. Через два дня он заявился в Сытинский тупик, прихватив из продуктового магазина, что на Спиридоньевке, упаковку столичных пельменей и авоську картошки. Отперев дверь собственным ключом, он проследовал на кухню и стал готовить завтрак. Инесса вышла из спальни с толстым кроликом на руках и как ни в чем ни бывало уселась за стол.

День задался добрый. Полковник, утвердившись на кухне, начал обозревать ее глазом, косым и мрачным с похмелья. Инесса прижала к щеке кролика Цицерона, судорожно обнюхивающего утренний макияж хозяйки, и теребила ему спинку.

— Супчик с кроликом... самое то с похмелья! — сказал полковник.

— Оставьте моего кролика в покое! — томно ответила Инесса.

— Цицерончик, ты жив?

Кролик шевелил длинными ушами и смотрел на хозяйку красными глазками, выражавшими сомнение в триумфе пацифизма. Если этот дикий и лысый субъект в штанах цвета вялого шпината и дальше будет продолжать свои варварские выступления, ему, очевидно, несдобровать. Нет чтобы пожелать прозрачного бульончика с небольшим количеством морковки, лука и петрушек, посадить его, Цицерона, рядом на стол, как это случалось раньше, нарезать ему соломкой морковки да за ухом почесать... Но кролик понимал, что лучше не лезть на рожон, что полковник, отрабатывавший командный голос в академии, и уже не только к другим, но и к себе обращавшийся не иначе как «Стоять! Молчать! На первый-второй рассчитайся!» и почему-то всегда у себя оказывавшийся первым, склонен к тактике мгновенного реагирования — хватать за уши и в кастрюлю. Поэтому старался особо не высовываться, а полагаться на Бога. Благо и иконка с Божьей Матерью была прикреплена проволокой к его клетке.

Цицерон научился гадить в небольшую хромированную мисочку с ручкой в виде зеленой виноградной лозы — трогательный атрибут сельской идиллии времен

Викторианства. Он протискивал толстую задницу в клетку, зубами запирал за собой дверцу и садился на миску, как тетушка Глафира Савельевна, урожденная Гнысь, няня и родственница полковника, живущая нынче в Тульской губернии. Полковник рассказывал о ней с нежностью, на какую способен снабженец чеченского фронта. Цицерон никогда не страдал расстройством желудка, разве что хозяйка, сославшись на профилактику респираторных заболеваний, головками пожирала свежий чеснок вместе с докторской колбасой, а затем принималась дуть ему в мордочку, и кролик, пересиливая отвращение, снисходительно щурил левый глаз и изо всех сил сжимал анальные мышцы. Цицерон испражнялся коричневыми шариками — и если б не табличка «Кроличье деръмо», шарики вполне можно было бы принять за душистый перец или остатки шоколадного пудинга. Когда мисочка наполнялась, Инесса выставляла ее на подоконник — подсохнуть, а затем выбрасывала в форточку. Мало ли что можно выбросить в форточку — залежавшиеся фисташки или косточки от маслин. Мисочка же бережно протиралась до блеска куском замши и возвращалась обратно в клетку.

Цицерону было шесть лет, весил он примерно восемь килограммов, и кабы не периодические посягновения на его жизнь со стороны полковника, кролик продолжал бы набирать вес. Но может оно и к лучшему — стрессы и выбросы адреналина положительно сказывались на выражении его глаз. Куплен он был на Птичьем рынке в том возрасте, когда умиление вызывает всякая тварь, а уж тем паче кролики. К середине жизни Цицерон стал походить на философа Канта, неторопливо разгуливающего по мрачным набережным Кёнигсберга. Разумеется, проблемами чистого разума кролик вряд ли был озабочен, но, глядя на него, полковник поджелудочной железой ощущал прямо пропорциональную зависимость гастрономических притязаний и социальной вражды. Бывало, Инесса брала Цицерона к себе в постель, нежила и холила, гладила и целовала, полковник же — за отсутвием надобности — был лишен доступа к старомодной никелиированной кровати жены, посему мучительно страдал ревностью, которую можно было загасить лишь дешевой водкой «Топаз».

Полковник вычитал где-то, что ежели вообще не убирать за кроликами, то количество экскрементов за год может вырасти до 7,5 кг. Он перемножил вес на шесть лет и получил солидную цифру — 45 кг. То есть за все время проживания Цицерон отвалил им почти полкухни деръма. Как-то утром полковник аккуратно высказал жене свои соображения относительно целесообразности пребывания на их жилплощади Цицерона и даже попытался разъяснить ей, что, к примеру, экскременты кита полезны для океана — они очищают воду, экскременты же кроликов, крыс и тушканчиков являются рассадником всевозможных бактерий. На что Инесса коротко ответила:

— Импотент!

Работа продавца книг может существенно расширить кругозор человека, а может превратить в скотину. Все зависит от тематики продаваемых книг и от контингента. Инесса трудилась на ниве книготорговли в павильоне «Семена» на ВДНХ. Наряду с саженцами и семенами она продавала шедевры полиграфического искусства, как то: «300 растений для вашего сада», «Груша, яблоня, слива. Новый садовый практикум», «Защита сада и огорода от вредителей» и т.д. Воспитанная на Серебряном веке, душа Инессы сначала протестовала, однако, убедившись в бесполезности этой акции в смысле пополнения бюджета и альтернативы между парным мясом и просроченной тушенкой, плонула на все и отдалась течению жизни. Надобно заметить, что бурное течение мгновенно подхватило ее и вынесло на самую середину, где такие имена, как Пикассо или Матисс, произносились только применительно к маркам автомобилей. Благо, внешние данные Инессы весьма способствовали этому. А началось все с Библиотечного института, что в Химках. Инесса успешно закончила его по специальности «библиотечно-информационная деятельность, русская и советская литература».

Вполне солидный вуз, кстати, если не считать того, что далеко от центра. Инесса проживала в Сытинском тупике, расположенному между Спиридоньевским переулком и Большой Бронной, возле Палашевского рынка, и ей приходилось добираться до института на перекладных. Сначала на метро до Речного вокзала, а оттуда на автобусе до Библиотечной улицы в Химках.

Она была девушкой общительной, носила короткую юбку и очки. Левый глаз ее слегка косил, но это придавало дополнительный шарм — выглядела она провинциальной простушкой, хотя и не являлась таковой. Породистая красота — длинные сильные ноги и широкие бедра — в сочетании с наивностью (наивностью ли?) сводили с ума мужчин. В метро она смело закидывала ногу на ногу, чувствуя, как десятки пар глаз нахально лезут ей под юбку. Инесса же не меняла ни позы, ни выражения лица. В руках она держала раскрытый томик, скажем, Есенина — Пастернак или Цветаева могли отпугнуть потенциальных ухажеров — и читала стихи, не поднимая взгляда. Колени ее и бедра, обтянутые черными нейлоновыми чулками, вызывали усиленное слюноотделение. Мужики пачками ехали за ней до конечной станции, не в силах оторваться. А Инесса доеzzала до Речного вокзала, захлопывала книжку с золотой тесемкой в качестве закладки и свободной пружинящей походкой устремлялась к выходу. Среди воздыхателей были и 14-летние прыщавые юнцы, и 50-летние солидные граждане. Некоторые поднимались за ней наверх и терпеливо отстаивали очередь на остановке, пока Инесса не садилась в автобус. Иные поворачивали обратно, чертыхаясь. Полковник тоже был пленен ее красотой, только в отличие от прочих слюняев добился ее. Он, как и все остальные, сопроводил барышню до Речного вокзала, пожирая при этом глазами, сел вместе с ней в автобус и доеzzал до Химок. Разумеется, Инесса была польщена настойчивостью старлея с блестящими пушечками на погонах, но виду не подавала. Когда она приблизилась к входу в здание института, старлей решился представиться. Он молодецки щелкнул каблуками и, широко улыбаясь, произнес:

— Простите, скоро мне ехать служить в часть, не согласились бы вы выйти за меня замуж?

Инесса захлопала глазами от неожиданности. Затем смерила взглядом старлея, отметив рыхлые плечи да залысины, и улыбнулась. Она надеялась, как обычно, продинамить ухажера, но все произошло совсем иначе. Старлей терпеливо прождал до конца лекций, затем взял ее за руку и увез на такси к своим друзьям в Сокольники. У друзей было застолье, их уже ждали, усадили на заранее приготовленные места, ну и накачали водкой. Утром Инесса проснулась в чужой постели. Рядом хранил старлей, выставив голую пухлую задницу.

Застолье запомнилось шумной руганью и пошлыми анекдотами. После очередной рюмки ее растащило, и она стала декламировать по-французски «Пьяный корабль» Артура Рембо, а старлей, скривив губы, закачал головой — дескать, вот какую бабу я охмурил. Друзья в ответ тоже закачали головами и зацокали языками.

— Это вы на каком языке читали, позвольте полюбопытствовать? — спросил седой майор, бесцеремонно поглаживая колени рядом сидящей девушки.

— Это Фра-анция, мудила! — вместо нее ответил старлей. Он рванул на себе рубаху, поднял рюмку и произнес: — Хочу предложить тост за прекрасных дам!

— А дальше? — одернула юбку девушка, сидящая рядом с майором.

— Виноват! — отозвался старлей.

— Дальше-то что? — переспросила девушка и размазала тыльной стороной ладони тушь по лицу. — Вот ты произнес тост «За прекрасных дам!», а еще что-нибудь можешь сказать?

Кругом засмеялись.

— Так точно! — отчеканил старлей. — Только какой смысл?

— А-а-а! — многозначительно протянула девушка. — Ни хрена ты не можешь!

Вон твоя барышня, красавица писаная, да еще стихи по-французски читает, а ты даже тост не можешь толком сказать. Пялишься только на ее грудь. Сволочь ты порядочная!

— Петрович! — возмутился старлей. — Уйми свою блядь, а то я за себя не ручаюсь.

— Сам ты блядь! — не поднимая головы, спокойно проговорил майор и отправил в рот кусок колбасы. — Ты за кого себя имеешь?

— Да я тебя...

— Ну что, что? — презрительно поморщился майор. — Тебя куда откомандировали, в Чучмекистан? Вот там тебе и место. — И повернувшись к Инессе: — Простите великодушно, если обидел вас.

— Вы меня не обидели, — с интересом взглянула на него Инесса.

— Петрович, — стал подлизываться старлей к майору, — да я сам не знаю, что на меня нашло. То ли водка паленая, то ли закусить не успел.

В это время заиграла музыка — «Желтая кирпичная дорога» Элтона Джона, и все пошли танцевать. Инесса тоже вытянула в круг майора, положила ему руки на плечи и прижалась всем телом. Старлей сидел и грыз ногти. Спустя несколько минут они уединились в соседнюю комнату, где стояли кровать, платяной шкаф и письменный стол, и заперлись изнутри. Майор подцепил рукой край юбки Инессы, задрал ее настолько, что стали видны подтяжки для чулок и белые бедра, и обнял ее.

Когда он отвалился, тяжело дыша, в дверь постучали.

— Кто там? — спросил майор ровным голосом и закурил.

— Это я, товарищ майор, — произнес старлей, царапая ногтями дверь, — я подумал, не с вами ли Инесса?

— Ну со мной, — выпустил дым майор, — и что с того?

Инесса потянулась к столу, взяла початую бутылку «Столичной» и отхлебнула из горла.

За дверью было тихо. Чуть погодя, старлей тихо, будто боялся разбудить кого-то, позвал:

— Инесса-а-а!

Майор затянулся сигаретой и взглянул на нее.

— Не выходи за него замуж.

— Почему?

— Просто не выходи

— Тогда ты меня возьми замуж.

Майор оскалился и поцеловал ее в уголок глаза.

— У меня уже есть жена.

— Не та ли, что в соседней комнате?

— Галка-то? — переспросил майор. — Не, это боевой товарищ.

— Зачем же ты ей под юбку полез? — ехидно спросила Инесса и захихикала.

— Ты же сама знаешь, милая.

— Я-то знаю, а твоя жена знает?

Майор промолчал. Из-за двери снова послышался голос нашкодившего школьника:

— Инесса-а-а!

— Ответь ему, а то он не успокоится, — сказал майор.

— Чего тебе? — спросила Инесса, еле сдерживая смех.

— А тебе разве не пора домой? — поинтересовался старлей.

— Нет, я остаюсь ночевать здесь.

— Ладно, выди к нему, а то руки еще на себя наложит.

— Погоди, успеется. Я бы с удовольствием вышла за тебя, — сказала Инесса и обняла майора.

— Я знаю, милая. Но за меня нельзя — хлопот не оберешься.

Инесса снова отхлебнула водки.

— Я уже совсем пьяная. Ты, наверно, все знаешь, скажи, почему, когда нравится человек, то теряешь над собой контроль?

— Да хрен его знает, — зевнул полковник.

Через полчаса он встал, оделся, отпер дверь и переступил через тихо скулящего старлея, который немедленно занял его место в койке.

Год спустя из Чечмекистана Вольдемара направили на учебу в Военную академию Генерального штаба, где он проучился два года. Инессе было забавно наблюдать карьерный рост мужа, сопряженный с беспробудным пьянством. Дослужившись до полковника, Вольдемар выхлопотал приличную пенсию и подал в отставку.

В дверь позвонили. Инесса, вместо того чтобы открыть ее, ушла в спальню и заперлась. Полковник удивленно приподнял брови, но все же двинул в прихожую. В дверях стоял высокий худой человек в плаще, примерно двадцати пяти лет отроду. Круги под глазами свидетельствовали о бессонной ночи.

— Вы ко мне? — спросил полковник, вытирая глаз тыльной стороной ладони, держащей чищеную луковицу.

Молодой человек поклонился, но не ответил.

Полковник посторонился и пропустил гостя в квартиру.

— Проходите на кухню, — сказал он, — я как раз супчик варю. Не желаете присоединиться?

— Благодарю вас, в другой раз.

— А-а, вы, наверное, от Тетери. Как он поживает, как все наши?

— М-м-м, я не от Тетери!

— А от кого же? — спросил полковник, продолжая нарезать морковь тонкими кусочками, и тут догадка сверкнула у него в мозгу: — Вы к Инессе? — и смерил его взглядом, но теперь внимательным, неторопливым.

— Я, собственно, к вам, — сказал молодой человек.

— Чем обязан? — повысил голос полковник.

— Мне поручено заявить вам, чтобы вы больше не появлялись в этой квартире.

Полковник посмотрел на него снисходительно, даже как-то по-отечески, и высыпал в кастрюлю с водой нарезанную морковь.

— Кем поручено, Инессой?

— Вы правы.

— Этой стервой?

— Я попросил бы вас не выражаться в подобном тоне.

— Слушай, щенок, таких, как ты, я мухобойкой давил в Чечне.

— Ну, это понятно. И все же я настоятельно рекомендую вам больше не появляться здесь.

— А не то — что?

— Ничего.

— Вот и катись, покуда цел.

— Вольдемар Пименович, я не привык, когда со мной так говорят.

Полковник внезапно снял с плиты кастрюлю и окатил гостя горячей водой. Молодой человек инстинктивно повернулся боком, прикрываясь рукой, и тут получил удар кухонным ножом в спину. Лезвие пришло в ребро и сломалось. Молодой человек ощущал теплую липкую кровь под лопatkой. Между тем полковник выдвинул ящик буфета, достал другой нож и полоснул его по шее.

— Из-за таких ублюдков, как ты, мы просрали Югославию! — заорал полковник. — Из-за таких, как ты, получили Хасавюрт!

Из спальни, прикрыв рот ладонью, выбежала Инесса. Глаза ее были круглыми от ужаса.

— Ты что наделал, подонок? — крикнула она. — Ты же убил его!

— Ничего, выживет,— отозвался полковник. — А с тобой, сука, мы еще разберемся!

Одной рукой молодой человек зажимал рану на шее, а другой пытался извлечь из кармана платок. Он чувствовал, как в нем закипает гнев. Инесса принесла бинты и вату и стала обрабатывать порез.

— Слава богу артерия не задета.

— Вызовите «скорую», — сказал молодой человек, бледнея.

— Да зачем тебе «скорая», сейчас мы промоем твою царапину, будешь как новенький, не переживай.

Вольдемар не унимался.

— Ты что, из крутых? — орал он. — Ну, иди ко мне, я тебе пощекочу селезенку, мразь такая!

— Заткнись, импотент! — дернула его Инесса. — Знай, что с ним я почувствовала себя настоящей женщиной! Я люблю его!

— Лю-ю-ю-бишь? — визжал Вольдемар. — Лю-ю-ю-бишь?

— Да, люблю, — сказала Инесса. — И постоянно изменяла тебе с ним.

— Почему вы врете, Инесса Соломоновна? — подал голос гость.

— И ты заткнись, хлюпик! Не смог выполнить простого поручения! Катитесь оба из моей квартиры! Кролик Цицерон, и тот посильнее вас двоих будет.

Вольдемар с хлюпиком переглянулись и ощутили душевное родство. Им представился кролик в тоге и котурнах, который стремительно увеличивался в размерах, и по мере того, как он становился больше, глаза его свирепели, как у легионера, готового к смертельной схватке.

Они повернулись и молча покинули квартиру.

Гедда

Когда хочешь написать, что ночная Москва полна неожиданностей, лучше дождаться утра. Потому что истина в любой момент может пахнуть на тебя жаром, будто сунулся с мороза в протопленную баню. Сравнивать ее со злокачественной опухолью, как делают то ортодоксальные клерикалы, некорректно, да и неблагородно, — истина, во что бы она ни рядилась, исполнена скорби. Особливо когда холодный ветер продувает насквозь и ты, придерживая воротник пальто, бредешь по улице, и время, что колодка, обтянутая кожей, приобретает форму твоего тела, и приходится дышать испарениями минувшего дня.

Это такая ночь, милая, такая ночь.

Ты забываешь себя — как забывают шапку или перчатки в гардеробе, и немой верзила догоняет тебя и, делая знаки руками, возвращает на землю — молча и трогательно. За ним коротышка в толстовке оголил торс и похлопывает себя по пузу. Верзила оборачивается к нему и звучно целует в живот, при этом ожидаемого чувства омерзения не возникает, напротив — я преисполнена солидарности, ибо действия немых — до последнего движения мизинца — продиктованы любовью.

Истина подкатывает к тротуару, светя фарами шикарного «ленд крузера». Из машины выходит девица в норковом манто и гражданин в добротной шляпе, и улыбка пристыгивает к их губам.

— Хотите выпить? — спрашивает мужчина, трогая двумя пальцами широкие поля шляпы.

— Да, хотим! — кивают немые и, сдвигая брови, тянутся синими от холода губами к кончику носа.

Это выражение снисходительного благородства — не следует оскорблять незнакомцев отказом.

Девица, обнажив шикарное бедро, лезет в багажник и достает бутылку мартини.

— О-о-о! — кивают немые, все еще стараясь достать губами кончик носа. — Вы превосходите любезностью наше скромное обаяние, но мы люди простые, да и писака, — показывают на меня, — не из благородных, так, в лучшем случае из поместных. Нет ли у господ обычной водки, на худой конец бормотухи? Не-е-е-т? Извините нас! — и уголки губ сползают к подбородку, как шелковичные черви.

И тут вперед выступаю я — грудь колесом, ноги вытянуты в струну, и седой чуб тревожит морщины на лбу — какое счастье.

— У меня есть зубровка, пойдет?

— Конечно, конечно! — потирают руки немые.

— Что ж, зубровка так зубровка! — соглашается господин в шляпе, протягивает бледную руку в сторону девицы и торжественно провозглашает: — Господа, позвольте вам представить мою невесту, — Гедда!

— Гедда? — переспрашиваю я. — Как у Ибсена, через два «д»?

Девица ухмыляется.

— Да-да! — отвечает господин в шляпе, и непонятно, то ли он подтверждает наличие в имени двух звонких согласных, то ли просто имитирует произношение. — Только какая нахрен разница! Нынче у нас знаменательное событие, Гедда согласилась выйти за меня замуж, правда, Гедда?

Та продолжает ухмыляться.

— Это любовь! — объявляет господин и обнажает бритый череп, будто по Садовому кольцу промчалась карета Елизаветы.

— На закуску только шоколад «Юбилейный», — шепчет Гедда. — Я везла его дочери.

— Нет, что вы! — качают головами немые. — Мы не позволим себе обделить ребенка, уж лучше без закуски!

Гедда протягивает пластмассовый стаканчик — рука в перчатке, и тонкое запястье с выпирающей косточкой в виде вишенки на викторианской розетке виднеется между краем рукава и отворотом перчатки.

Извлекаю из кармана пальто пузырь и откупориваю его, не преминув припомнить известные строки про уныние и бутылку шампанского, впрочем, про женитьбу Фигаро умалчиваю. Верзила наливает водку и произносит трогательный тост за жениха и невесту — ах небо, усыпанное гранатовыми звездами, и легкое дыхание перед смертью, как у Бунина, и тяжесть юдоли — Россия беременна этой юдолью — однако верх благородства молчать об этом, разве что слегка коснуться за утренним кофе да сморгнуть слезу в чашку незаметно для лакеев. Верзила молча транслирует все это девице так, что жилы проступили на шее, и кажется, будто он утоляет давнишнюю жажду. У меня аж зубы сводит от кайфа, и в животе ухает, как в зимнем лесу. Никогда не слышал подобного. Забираю стакан и, пощелкивая им, наливаю водку.

Гедда, не торопясь, подходит ко мне и гладит по седым волосам — все в порядке?

— Ваше здоровье! — говорю я.

Верзила толкает меня локтем, пей, дескать, водка стынет, и я пью, цедя сквозь зубы напиток. Очередь за коротышкой, тот жестикулирует нещадно, пытаясь что-то донести до нас, и это похоже на бричку посреди осеннего поля — дождь как из ведра, и колеса вязнут в хлюпающей жиже, и лошадь на последнем издохании. Господин напяливает шляпу, распахивает пальто и извлекает из внутреннего кармана смокинга сигару с золотой каймой, надкусывает конец и ищет зажигалку. Не найдя ее, складывает холеные пальцы на груди и принимается хохотать так, что машины замедлили ход и даже троллейбус притормозил, и из лимузина напротив слышится пронзительный свист.

— Ну, рожай давай! — кричит он сквозь смех. — Вот умора, блянь, театр мимики и жеста!

Но тут коротышка расстегивает штаны, достает приблуду и, оскалив рот, машет

ею из стороны в сторону, чем мгновенно обрывает смех господина в шляпе, но вызывает чистый хохот невесты, да и мы с верзилой веселимся вовсю — мировая хохма.

— Да ты че, козел старый, хер глухонемой, хочешь, чтобы я тебя грохнул здесь? — орет шляпа, скимая зубами сигару, на что верзила сгребает его в охапку и медленно качает головой: — Не трогай брата!

И я говорю:

— Успокойся, приятель, это шутка.

— Вот так шутка! — извергает шляпа, и негодование его перекатывается через сигару, как через волнорез. — В присутствии-то моей невесты!

— Но ты же сам виноват, — возражаю я, — с ними нельзя так! — и чувствую поддержку со стороны немых.

— Он прав, — говорит Гедда, — оставь их в покое! — и обращаясь ко мне: — Это ваши друзья?

Вдруг мой язык наливается свинцом, я принимаюсь жестикулировать, и мимические мышцы приходят в движение, как змеиная линька. Немые трясутся в смехе, и шляпа с барышней смеются тоже, а я дрожу в лихорадке, ровно провалился в полынью, и тысячи иголок вонзились в грудь и затылок — мычание жертвенного быка.

Господин достает бумажник, извлекает три купюры по сто долларов и сует их мне за пазуху.

— Ну, уморил, вот те за труды, писака!

Однако я рву на груди свитер, комкаю деньги и чувствуя, что язык не умещается более во рту, швыряю их в лицо господину. Головы наши медленно качаются из стороны в сторону — моя, верзилы и коротышки — и Гедда, заметив наше единение, хлопает в ладоши.

— Если ты не прекратишь хамить, они тебя убьют! — говорит она негромко жениху. — В них этой ночью чудовищная сила. И застегнись, пожалуйста, а то простудишься!

Гедда приближается к нам и по очереди целует — нежное прикосновение губ, как ветерок ранним утром. А шляпа бежит к машине, распахивает дверь, шарит под водительским креслом и, достав большую черную волынку, передергивает затвор. Господи, неведомы твои дела. Верзила выступает вперед и, разведя крылья, подобно глухарю на току, прикрывает нас своим телом. От страха ли, от отчаяния, я подпускаю в штаны и чувствую тепло между ног.

— Не убивай нас, парень! — молчит верзила, но глаза его пронзают насеквоздь господина. — Не дело убивать безоружных!

А тот выплюнул сигару, орет благим матом:

— Кто вы такие, блядь, издеваться надо мной, да я вас сейчас урою!

— Успокойся! — продолжает молчать верзила. — Прости нас, если мы виноваты, погорячились, только убери волынку, нам не нужны неприятности.

— Дорогой! — обращается к нему Гедда. — Что с тобой? Разве ты не получил того, чего желал? Ведь я дала тебе согласие!

— Но ты не любишь меня! — орет шляпа. — Не любишь, даже этих засранцев целуешь нежнее, чем меня!

— Бедный! — говорит Гедда. — Разве можно сравнивать себя с ними?

Но тут коротышка отодвигает в сторону верзилу, вплотную приближается к шляпе и спокойно заглядывает ему в глаза, дескать, ну что, кишка слаба выстрелить, время сушить штаны?

Господин поднимает волынку и стреляет в упор — звук негромкий, ровно мухобойкой по спинке дивана — и толстяк медленно оседает на асфальт.

— О Боже! — зажмуривается верзила.

И страх исчезает, мы с верзилой надвигаемся на господина, даже не повернувшись

боком, глядя исподлобья, а тот дрожащей рукой наставляет на нас дуло и пытается спустить курок. Время выпархивает вместе с выдохом перегара, и свобода обнимает нас муравьиной негой, и головы запрокидываются назад — стреляй, сука! А Гедда встает между нами, и мы чувствуем, что слова растаяли у нее во рту, как ледышки, и смешались со слезами.

— Какая же ты мразь!

Господин пару минут стоит в нерешительности, затем с силой швыряет волыну в салон автомобиля, садится в водительское кресло и срывается с места в сторону бульвара.

Мы с верзилой опускаемся на колени возле толстяка.

Гедда в обнимку со смертью гуляет по заснеженному тротуару...

Плакальщица

Иорам сказал, что Малат с нею на короткой ноге, что они общаются как давнишние приятельницы. Большой Бат покосился на старуху и скривил губы. Ему не слишком верилось во всю эту чертовщину — ночная игра в футбол при свете луны, мертвецы на поле, Смерть в исподнем — глупости! Однако Иорам — мужик терпкий, вратя не станет. Большой Бат был озадачен настойчивостью, с какой стариk доказывал это. Все равно что утверждать, будто телекинез и черную магию преподают в начальных классах. Он повернулся к Тоху и пристально посмотрел на него, словно пытался достать взглядом до самого дна его голубых глаз и выудить подвох. Но тот был невозмутим. Тогда Большой Бат попросил Малат продемонстрировать пулью. Она сунула руку в карман передника и достала ее. Ничего особенного, пуля как пуля, не деформирована, стало быть, цели не достигла. Небось, упала на излете в мягкую землю или пацаны разобрали патрон, чтобы добить пороху для розжига костра.

Большой Бат покачал головой.

Старуха работала в школе уборщицей, а в свободное время присматривала за могилами. К тому же никто лучше ее не готовил к погребению ребят, которые в основном гибли от осколочных и пулевых ранений. Хотя приносили и с прочими разнымиувечьями. И каждого она приводила в порядок. Большой Бат утверждал, что она свихнулась на этом.

Малат снимала с них пропитанную кровью, мочой, калом одежду и омывала простой водой. Затем она замачивала простыню в растворе уксуса и липового меда, разворачивала ее и, посыпав каменной солью, плотно обтягивала мертвого. Так он лежал несколько часов в леднике, пока не прекращались выделения из раны, из носа, изо рта и ушей. После чего старуха омывала покойного уксусом и розовой водой, причем промывала каждую складочку на теле, и снова заворачивала в простыню, густо смазанную снадобьем из меда, жира молодой овцы и отвара из кедровых иголок. Наконец она разжимала ложкой рот покойному и вливала стакан семидесятиградусной араки. Малат была против современных методов бальзамирования. Разве что позволяла иногда врачам вкатить под мышки умершему несколько кубиков карболовой кислоты.

— А что им стоит? — шамкает старуха. — Ворота целые, разметка тоже видна. Выходи и играй.

Большой Бат дернул ее:

— Прикуси язык, бабка!

— Что ты, родной, пусть все твои несчастья падут на мою старую голову! Я же не со зла!

— Оставь ее, Батрадз! — строго сказал Иорам. — Она заодно со смертью. Она — сама смерть! Почему я ее не раскусил, когда вез вместе с племянниками из Сибири!

Малат хихикает, показывая беззубый рот.

— Да, я вижу ее каждое утро на футбольном поле, — старуха распускает на голове черный платок и приглаживает белые волосы. — Она приходит затемно. Дело не в страхе. Думаете, Смерть сопровождает каждую пулью? Не-ет! — трясет рукой старуха. — Она мне шепнула на ухо, что перехватила ее на лету. — И мнет пальцами пулью, словно хлебный мякиш. — Правда, правда.

— Во что же она одевается, дзыщца¹? — издеваются над нею мальчики, которые по утрам забираются на крыши домов, стягивают штаны и демонстрируют снайперам белые худые задницы: дескать, стреляйте, сволочи, коли охота.

— Хм, когда во что, птенчики мои. То в брезентовый дождевик, какой был у моего покойного отца-агронома, то в ситец и соломенную шляпку, а то и вовсе голая приходит.

— А красивая она, Малат? — загораются глаза у мальчиков.

— Красивая, спрашиваете? Э-э-э, такая красивая, что все мертвцы провожают ее взглядом.

— Так уж и все?

— Истинный крест!

— Врешь, бабка! — кричит Большой Бат. — Они в земле лежат и ничего не видят!

— А разве ты не знаешь, что ночью все, как один, встают из могил и играют в футбол? Делятся на команды и играют. А на рассвете, когда уж все выдохлись, приходит она. Приносит родниковой воды в кринке и поит их, а потом не спеша уходит, и ребята сворачивают бычьи шеи.

По утрам свежо, но ощущение свежести пропадает, когда со стороны горы Згудер, откуда город виден как на ладони, начинают раздаваться автоматные очереди, и пули свистят, что райские птицы, отскакивая рикошетом от стен школы и оставляя выбоины. Малат выходит на футбольное поле и бродит между могил. Стрельба прекращается, и тогда улицу Ленина короткими перебежками форсируют старшеклассники. Малат ворчит на них незлобно. Она ходит между еще не осевших холмиков, разглядывая наскоро сколоченные деревянные кресты, поправляя цветы и венки, кажется, ищет чью-то могилу, но, присмотревшись к ней, убеждаешься: она оплакивает всех.

Трехэтажное здание школы облупилось. Над крыльцом надпись: «В школе № 5 будет все на пять!» Окна учительской и кабинета биологии выходят на футбольное поле и бетонные гаражи. На заднем дворе — турники, брусья и гимнастические бревна. Футбольные ворота хотели снести, но Малат не позволила. «Пусть стоят! — сказала. — Никому не мешают!» «Но это же кладбище, бабка!» — возразили ей, на что она ответила, что никакое это не кладбище, а футбольное поле. В конце концов все привыкли. И когда она причитала над гробом, импровизируя, как всегда, и являя присутствующим недюжинный поэтический талант, нет-нет да обыгрывала превращение футбольного поля в кладбище, дескать, команда пополнилась еще одним молодым игроком, и вряд ли кто теперь устоит супротив, — эффект оказывался потрясающим. Призвание плакальщицы — трогать словом сердца. В период войны плач кроме ритуального имеет терапевтический смысл. Выплакав горе, человек способен и дальше держать удар. Недоумение длилось недолго, потому что действия Малат были лишены дешевых театральных жестов. Каждый раз она заново переживала смерть, и за это ей многое прощалось.

Хоронят каждый день после обеда, бывает, по два, а то и по три покойника, и ученики во время уроков биологии имеют возможность наблюдать наглядный пример круговорота жизни и смерти. Стрельбы не слыхать, тишина напоминает бабу на сносях. Похороны во время войны утрачивают сакральную сущность, которая обычно скрывает тяжесть боли и утраты. Но адат есть адат. Предание земле

¹ Так в Осетии обращаются к матери.

происходит в деловой атмосфере. Присутствуют лишь близкие и друзья. Причем друзья благоразумно разоружаются — чтобы не дразнить гусей. Гроб с телом вносят на поле, ставят возле свежевырытой могилы, и старейшина принимается за обряд погребения. Женщины плачут, но не очень громко. А Малат ждет своего часа, она — старая, опытная плакальщица. Ей никто не запретит причитать...

Илифия

В пятницу утром из Цхинвала позвонил Большой Бат и сообщил, что Алеша убили.

— Я предупреждала, — процедила женщина сквозь зубы так, что слюна вскипела во рту, и осеклась, поймав себя на мысли, что в таких случаях говорят совсем другое.

Большой Бат был умницей, всегда все понимал.

— Держись, сестра, — сказал он просто. — Если решишься приехать, сообщи, я пришлю кого-нибудь тебя встретить.

— Как это произошло? — спросила она, не узнавая собственный голос.

На том конце провода выдержали паузу и ответили:

— Его застрелил снайпер.

Слез не было. Не было ничего, кроме тяжести в животе. Где-то в глубине сознания барахталась мысль: «Так тебе и надо, скотина!» — но женщина не позволила ей всплыть на поверхность. Она повесила трубку и стала собираться. К десяти надо было в женскую консультацию. Последнее обследование показало, что плод повернулся попкой вниз.

— Можете сесть! — строго сказала врач в крахмальном халате.

Она была из тех, кто даже к внукам обращается на вы. Глаза внимательные, с легкой иронией, но не лишенные доброжелательности. Висящие на груди очки в золотой оправе да гладко зачесанные крашенные хной волосы подчеркивали утонченность.

— Иногда детки разбойничают в утробе, — произнесла она, трогая стетоскоп в нагрудном кармане, — не нужно переживать, обойдется.

Халат ее похрустывал. Женщина втянула живот и принялась застегивать бандаж.

— А если он не повернется, тогда придется делать кесарево сечение? — спросила она, и подбородок ее задрожал.

— У вас какая неделя, милочка? — отвернулась врач.

— Тридцать шестая, — размазала она слезы по щекам. — Но мне нужно ехать на похороны.

— Какие еще похороны?

— У меня мужа убили! — сказала она и зарыдала.

Старушка не стала ее успокаивать, просто подала салфетку и приоткрыла окно. Женщина высыпалась и прикусила губу, чтобы унять рыдание. Теперь она была готова ко всему, лишь бы плод не запутался в пуповине.

Она вернулась домой, приняла душ и надела свежее белье. Включила конфорку, и пока закипал чайник, легла на ковер, чтобы расслабиться. Затем выпила крепкого чая с бутербродом и съела пол-яблока. Она вернулась в ванную комнату, достала из стакана зубную щетку, желтый одноразовый станок для бритья и старый колонковый помазок, еще пахнущий лимонным кремом «Арко». Все это принадлежало Алешу, но его уже не было. Внезапно у женщины подкосились колени и, задев животом край раковины, она рухнула на холодный пол...

По пути в Цхинвал, где-то за селением Бурон, сломался автобус. И слава Богу. Потому что в двух километрах от Нижнего Зарамага сошла лавина. По словам очевидцев, чудом избежавших гибели, два жигуленка смело, как горошины.

Женщина прилетела утренним рейсом в Беслан, где ее встретил двоюродный брат Алеша Тох, высокий молодой человек с шикарнойрусой шевелюрой и голубыми глазами. Без лишних слов он подхватил сумку и направился к остановке на площади аэропорта. Они доехали до Ардонского круга и на автовокзале пересели в Цхинвальский автобус. Водитель старого «пазика», толстый усатый осетин, сидел на своем месте и листал газету. Пассажиров собралось немного. Справа — пожилая чета с натруженными руками, от которой веяло провинциальным спокойствием и миролюбием. Впереди, за водительским креслом, трое рабочих в униформе. А сзади — седой мужчина с неподвижными впалыми глазами, с фотографией юноши на пурпурном сердечке, пришпиленной к лацкану пиджака. Прошло минут сорок, но они не трогались. Тох встал, не спеша приблизился к толстяку и сказал ему несколько слов по-осетински. Водитель обернулся на женщину и кивнул. Тох так же не спеша вернулся на свое место. Пожилая чета обратила на них полный сочувствия взгляд. Парень был не слишком многословным, но женщина прониклась к нему доверием.

— Сейчас поедем, — сказал он.

— Долго ехать? — спросила она.

— Как дорога, — ответил Тох. — Может, три часа, а может, все десять.

Пожилая чета продолжала наблюдать за ними.

— Не переживай, дочка, — сказала старушка, — если что, заночуете у нас в Зарамаге.

Инна смущалась, попыталась улыбнуться.

— Я еду на похороны мужа.

Чета участливо закивала.

На перевале «пазик» встал. Пока толстяк ковырялся в двигателе, пассажиры вышли покурить. Солнце жарило вовсю, однако порывы ветра пробирали до костей. Неплохо бы за кустик, — подумала женщина, чувствуя шевеление плода в животе. Но кустов поблизости не было. Кругом все просматривалось как на ладони. С одной стороны высилась отвесная скала, с другой зияла пропасть. Можно укрыться за поворотом, но во-первых, до него топать метров двести, а во-вторых, где гарантия, что в самый неподходящий момент из-под горы не вынырнет машина. Женщина подошла к краю обрыва и заглянула в пропасть. Внезапно она услышала за спиной голос Тоха и вздрогнула.

— Есть проблемы?

— Нет-нет, — быстро пробормотала она.

Парень поспешил к автобусу. Через минуту пассажиры сидели на своих местах и мирно переговаривались. А Тох с толстяком вдруг разбежались в разные стороны, ровно затянули салки, один — под гору, смешно тряся животом, второй — в гору, легко, будто рысь, пружиня длинными ногами, и перекрыли движение на трассе. Над дорогой нависла тишина. У женщины вспыхнуло лицо от стыда. Но выхода не было — все равно не дотерпела бы до следующей остановки. Она обошла автобус и, быстро оглядевшись, присела возле заднего бампера.

И тут тряхнуло. А несколько мгновений спустя послышался нарастающий гул. Женщину занесло в сторону, она едва не растянулась на земле. Вернулся водитель и, тяжело дыша, сообщил, что сошла лавина и все машины повернули обратно и что они рискуют застрять в горах. Из окон автобуса повысовывались головы и затараторили наперебой по-осетински. Тох словно из-под земли вырос. Он спокойно произнес всего несколько слов, и они продолжили путь. Встречные легковушки мигали фарами и сигналили. В горах каждый шорох слышен за полкилометра, а тут хор клаксонов. Сидящий сзади седой мужчина расстегнул верхнюю пуговицу черной рубашки и произнес:

— Это надолго!

Тох перехватил тревожный взгляд женщины и, улыбаясь, возразил:

— Нас это не касается! — И потом седому по-осетински: — Банчай! Замолчи! Седой оправил на лацкане пурпурное сердечко с фотографией и отвел глаза. Впереди образовался затор. Толстяк съехал на обочину и затормозил.

— Приехали! — объявил он. — Вылезайте!

Они покинули автобус и пошли пешком, лавируя между грузовиками. Тох нес сумку и стрелял глазами по сторонам. На женщину пахнуло ледяным холодом, и она остановилась. В пятидесяти метрах поперек дороги лежал трехметровый слой серой массы, от которой, как ей показалось, разило тухлятиной. Несколько человек махали лопатами и ломами. Среди них седой со впалыми глазами. Автоинспектор с жезлом пытался навести порядок на дороге, но безрезультатно. За ним по пятам следовал малый в кирзачах и войлочной шапке и, с подобострастной улыбкой оттягивая двумя пальцами кожу на кадыке, клянчил что-то. Но тот не обращал внимания. На асфальте сидел парень. Лицо его было бледным. Собравшиеся вокруг бабы растирали ему мочки ушей и виски. Однако парень не реагировал. Еще один, в заляпанной грязью белой рубашке с запонками, бродил среди людей и, качая головой, шевелил синими губами. Седой воткнул лопату в снег, смахнул крюком указательного пальца пот со лба и крикнул ему что-то. Тот продолжал ходить как безумный. Мужчина спрыгнул с глыбы, подбоченился и повторил сказанное. И тогда к нему приблизилась женщина лет сорока, с глубоким декольте, с поволокой на глазах, и ответила вместо него. Седой сплюнул в сердцах.

Инна наблюдала все это со стороны, сторожа собственную сумку, пока Тох носился в поисках знакомых, и не могла до конца осмыслить случившегося. Да, лавина слизнула участок дороги протяженностью в пятьдесят, а то и более метров. Были жертвы, но не то чтобы все это ее не трогало — казалось, снимается фильм с лехтвагеном и дигами, с кинооператором в берете, сидящим на тележке возле кинокамеры, и режиссером с матюгальником в руке, а она участвует в массовке. Однажды женщина уже снималась в каком-то фильме и помнила ощущение киношной суеты. И позднее, когда пришел Тох с двумя незнакомыми бородачами и сказал, что они пойдут скотной тропой, а она даже не успела удивиться, и двое из них встали рядом, перекинули концы капроновой веревки через плечи и обмотали вокруг запястий, а посередине веревки положили кусок доски, чтобы удобнее было сидеть (получилось что-то вроде миниатюрных качелей), усадили ее и понесли, а третий тащил сумку, и так они преодолели четыре километра горных тропинок, устраивая привал через каждые полкилометра и меняясь, потому что капроновая веревка, хоть и прочная, но неудобная, и ребята до крови натерли ладони, — ей все казалось, что это кино.

Спустившись на трассу, они сели в первую же попутку и добрались до тоннеля, откуда до альпийской зоны было рукой подать.

Длинный тоннель, соединяющий Южную Осетию с Северной, можно сравнить с пушкой, называемой также единорогом. С одной стороны ее поддерживает Верхний Рук, а с другой — Нар. Однако до сих пор довольно сложно выяснить, какая часть является казенной, то бишь задней, с винogradом, прицелом и фитильным отверстием, а какая — дульной, передней, с жерлом и мушкой. Что немаловажно, поскольку единорог — орудие стационарное, так сказать, мертвый стойки, предназначенное для метания тяжелых бомб. Впрочем, вертулюг предполагает изменение положения ствола. Но думается, не более чем на десять градусов — лафт может не выдержать.

В машине пахло окурками, коими была забита пепельница. Сам пепел затвердел, ссохся. Женщина села впереди, рядом с водителем, рябым малым с папирской в проеме между гнилыми зубами. Он долго косился на нее изумленно и цокал языком. Женщина попросила его выбросить папирскую, что тот выполнил с готовностью, после чего завел неторопливый разговор. Тох с бородачами уснули на заднем сиденье, и ей пришлось одной выслушивать его откровения. Лысая резина рыжей копейки визжала на поворотах, на кочках тряслася так, словно Военно-осетинская дорога

несовместима с понятием «амортизатор». Проезжая Нар, рябой вдруг расчувствовался и дрожащим голосом принялся рассказывать про великого Коста (вон его могила!), про ежегодный праздник в честь поэта с непременным жертвоприношением, а вино рекой, съезжается вся Осетия — и Южная, и Северная, и никогда южане с северянами не бывают так близки, как в эти дни, а в остальные так себе.

— Птицеголовые вообще не жалуют кударцев, — пожал плечами словоохотливый водитель.

Проснулся Тох и процедил сквозь зубы:

— Да жыхыл ныхаш! Прикуси язык!

Рябой опасливо оглянулся и замолчал. Но в это время бородачи тоже продрали глаза и неожиданно приняли сторону водителя.

— Почему ты ему затыкаешь рот, пусть говорит, — сказал один из них, тот, что постарше.

— Я видел их в деле, — отозвался второй, — дерутся они что надо.

И тут рябого прорвало.

— Да, — сказал он, — это правда, согласен! Но не хрена мочить рога, будто мы живем душа в душу! Никто лучше меня не знает, как птицеголовые уживаются с кударцами.

— Не называй их так, у меня мать родом из Алагира, — спокойно произнес первый бородач.

— У тебя мать из Алагира, — не унимался рябой, яростно крутя барабанку, — а у меня жена дигорка, и я все равно их буду называть так!

— Дигорцы — не иронцы, — заметил второй бородач, — но дерутся они тоже неплохо. У меня брат из Дигоры, Астан. Мы дрались бок о бок против ингушей в Чермене. Когда меня порезали, он дал мне свою кровь. Мы повязаны навек. И если кто скажет плохое про дигорцев, я его убью!

— Заткнись, малыш, — сказал первый. — Голова идет кругом от твоей болтовни.

— Я по два раза на дню мотаюсь из Цхинвала во Владикавказ, всяко приходится видеть, — продолжал рябой. — Вы, мол, огрузинились вконец — это они нам, грузинским осетинам — половину слов позаимствовали у них, да и места, дескать, лучшие забили на наших базарах, цены опустили — ниже некуда. А сами задницы лижут русским.

— С грузинами у нас счет особый, — зевнул малыш.

— Среди грузин тоже есть хорошие люди, — взорвал старший.

— Хорошие люди есть везде, — глубокомысленно заявил рябой. — Мы, например, всю жизнь прожили в Гори, — и, обращаясь к женщине: — Это город в Грузии, где родился Сталин. Так вот, мы прекрасно ладили с грузинами, пока не приперся Гамсахурдия и не стал орать на каждом углу, что осетины — гости в Грузии и пусть убираются в свою Осетию. В конце концов нас турнули оттуда. Пришлось бросить всё: дом, хозяйство, фруктовый сад. А когда началась заварушка, в Тквиави убили племянника. Сначала поиздевались над бедным парнем, крепко поиздевались. Так, что даже матери запретили смотреть на него, ни разу гроб не открыли. Сестра накануне похорон рассудком тронулась. И все на мою голову.

— С грузинами у нас особый счет, отец! — повторил малыш.

— Приехал я во Владикавказ, прописался к свояку. Через неделю прихожу в собес и прошу пособия как беженцу, говорю, помогите, братья, семью нечем кормить. А они мне — шел бы ты подобру-поздорову, гуыржиаг! Сволочи! Какой я гуыржиаг! Послушай, сестра, я знаю, ты едешь хоронить мужа, но я скажу тебе одно: мы никудышная нация! Только за столом — братья, а так готовы друг другу глотки грызть. И не говорите мне ничего про грузин...

Женщину мучило. Она была сыта по горло разговорами. К тому же в ноздри был ядrenый запах окурков и пота. В длинном темном тоннеле, где с потолка текла вода,

а встречные грузовики слепили глаза и норовили размазать их по стене, стало совсем худо, и женщина потребовала остановиться. Однако рябой сказал, что в тоннеле запрещено останавливаться. Тогда она опустила стекло и, ловя ртом густые выхлопные газы, высунулась наружу. За тоннелем открылся потрясающий пейзаж с зелеными холмами и серпантином дороги, а воздух был такой чистый, что одного вдоха хватило бы на всю жизнь. Женщина вдруг ощутила, как мгновенно изменились масштабы мира и человеческих страстей, и то ли от холода, то ли от усталости, у нее потекли слезы.

— Здесь начало нашей Осетии! — виноватым голосом произнес рябой и включил третью скорость.

Они подъехали к распахнутым воротам и остановились. Во дворе толпились люди. Двери двухэтажного деревянного дома с крытой верандой были распахнуты настежь. Слышались плач и причитания. Под дубом на скамейке сидели старики в бухарских шапках и парадных царских сапогах. Подрагивающие ладони покоялись на набалдашниках массивных палок. У ворот собралась молодежь и негромко переговаривалась. Возле калитки к забору была прислонена полированная крышка гроба с золотыми крестами по бокам.

В глубине двора засуетились, и через некоторое время их вышли встречать. Между тем Тох попытался сунуть несколько сотенных купюр в карман рябому, но тот категорически отказался от денег. Тогда он предложил ему зайти в дом и утолить голод с дороги, на что водитель ответил, что торопится, а на похороны непременно придет.

Женщина с трудом вылезла из машины, придерживая живот, отошла к забору, и ее вырвало. Из дома выскочили плакальщицы в черных платках, приблизились к ней, омыли лицо родниковой водой и напоили. Женщина удивленно пялилась на них

— На каком месяце? — спросила старуха в переднике и в мужских башмаках на толстой подошве и осторожно вытерла белым вафельным полотенцем красные глаза гостьи.

— Скоро рожать.

Старуха обняла ее и поцеловала в самые губы.

— Ничего не бойся, — сказала она, двигая вставной челюстью, — тут все свои.

Женщина отпрянула назад — у старухи дурно пахло изо рта.

— Пойдем, дочка, я тебя познакомлю с родными.

Внезапно между ними протиснулся небритый верзила, неся в руках запотевший глиняный кувшин и сверток с вареным мясом. Горлышко кувшина было заткнуто кукурузной кочерыжкой, но вино все же стекало на землю, распространяя аромат. Верзила погрузил все на заднее сиденье машины и захлопнул дверцу.

— Зови меня Малат, — шамкая, произнесла старуха. — Я тут, почитай, всем пупки завязывала, всех, как облупленных, знаю.

Она взяла ее под руку и повела во двор. Люди расступились, образовав коридор. У женщины заколотилось сердце, того и гляди в обморок грохнется, к тому же она не знала, как себя вести, но Малат крепко сжимала ее локоть. Откуда ни возьмись, появилась лохматая сука с толстым животом и завиляя хвостом.

— Почуяла свою! — сказал верзила, и женщина так и не поняла, что тот имел в виду — родство по крови или деликатное положение.

— Не бойся, дочка, ничего не бойся, — подбодрила ее Малат, — я с тобой!

— А где Бат? — спросила она.

— Кто ж его знает. К вечеру явится.

Двор был большой и чистый, с проторенной в траве тропинкой, ведущей от калитки к дому. Посреди двора возвышался раскидистый дуб, вдоль плетня росли яблони и айва, за плетеной изгородью виднелся виноградник. Оттуда тянуло дымом. Когда Малат с женщиной проходили мимо дуба, старики молча поднялись со своих мест и поклонились. Дом был двухэтажный, с балконом. Двери в комнатах были распахнуты настежь. По балкону сновали какие-то девки.

Они вошли в комнату на первом этаже, откуда доносились причитания, и остановились в проходе. Потолок был низкий, вдоль стен по периметру на казенных скамейках сидели женщины и прижимали к губам мятые платки. Посреди помещения на покрытой ковром тахте стоял добротный дубовый гроб, в котором покоился Алеш. Женщине показалось, будто один глаз его приоткрыт и он ухмыляется, наблюдая за вошедшими. Ей мучительно захотелось в туалет. Она качнулась, но устояла на ногах. Странно, но женщину взбесила его одежда. И дело даже не в том, что покойный был облачен в ненавистный ему двубортный костюм, крахмальную рубашку и галстук. Раздражало что-то другое — может быть, отсутствие складок на пиджаке или длинные рукава, из-под которых неестественно торчали белые пальцы с аккуратно подстриженными ногтями, или блестящие подошвы новеньких штиблет. Лицо покойного выражало спокойствие, но это спокойствие не было знакомо женщине. И тут она поняла, что ее раздражение — защита от страха перед неизвестностью, хотя страх этот вполне мог представлять собой дутую величину, привязанную к реальности разве что потрескиванием самодельных восковых свечей в изголовье. Грудь ее быстро стала заполняться упругим, разрывающим горло и аорту чувством утраты, сдобренным жалостью к присутствующим бабам. Это чувство было настолько сильным и всеобъемлющим, что женщина безропотно отдалась ему и ощутила, как из глаз ручьем хлынули слезы. Она сделал еще один шаг, вздохнула глубоко, и вместе с выдохом из груди вырвался протяжный стон.

— Вот и хорошо, милая, — словно бы с облегчением произнесла Малат.

В смежной комнате пахло сельским уютом. Вдоль стен стояли пружинные кровати с никелированными спинками. Посреди комнаты — круглый массивный стол под абажуром с бахромой, на полу дорожка. Кровати были завалены утварью. Старуха извлекла откуда-то траурное одеяние — юбку, кофту, фильтрепсовые чулки, платок и предложила переодеться. Женщина сняла одежду, аккуратно повесила ее на спинку кровати и ослабила шнуровку бандажа. Когда она надевала свободную юбку, ребенок зашевелился в животе, и ей пришлось сесть на стул. Старуха сказала, что негоже рожать возле покойника, что вечером они пойдут к соседям, а сейчас она распорядится подогреть воду и подготовить чистые простыни. На что женщина возразила, что по ее подсчетам роды начнутся через десять дней и она не доверяет сельским акушерам. Малат приблизилась к ней, ощупала низ ее живота и погладила по волосам — не нужно волноваться. Она повела женщину через заднюю дверь в туалет, который стоял в огороде, и подождала, пока та вышла. Затем они вернулись в дом, старуха провела ее и посадила между женщинами, возле гроба.

Сидящая рядом женщина с седыми распущенными волосами, не глядя на нее, подняла руку и провела шершавой ладонью по ее лицу.

— Ты знаешь, что у него есть жена, а дочь их мы похоронили прошлой осенью? — спросила она.

Женщина кивнула.

— Может быть, тебе повезло больше, чем законной жене.

В помещении воцарилась тишина, только свечи потрескивали. Пахло свежей древесиной и кутьей.

— Какой же ты подлец, Алеш! — сказала слепая. — Бросил сразу двух женщин! Бабы заплакали.

Женщина почувствовала себя вовлеченней в некое таинство, по спине у нее забегали мурашки, и помимо своей воли она вдруг заголосила чистым меццо. Ей хотелось поделиться тем, как трудно было добираться из Москвы в село, о сошедшей в Зарамаге лавине, о том, как трясло в машине и через каждые сто метров ее выворачивало наизнанку, и о многом, многом еще, но вместо этого просто простонала:

— Але-е-е-е-ш!

Причитания подхватили другие. Послышался голос:

— Я знала, что ты меня обманываешь, знала! И про бабу твою московскую знала, да помалкивала! Кто меня спрашивает! Но я готова была терпеть, лишь бы ты был рядом!

Инна догадалась, что это жена Алеша. Она поисками ее глазами и увидела худую женщину в черном, голова ее была туго замотана в платок, что подчеркивало классический вытянутый затылок, торчащие скулы и утомленный взгляд чистых серых глаз. Удивительно, но та часть прочтаний, которая произносилась по-русски для ущей беременной москвички, воспринималась ею как сухая информация. Сочувствие вызывали непонятные осетинские слова, вернее, тембр голоса, повторы, паузы между словами, во время которых плакальщица набирала воздух или вместе с выдохом исторгала стон. Женщина поняла, что важны не слова, хотя по-русски все изъяснялись сносно, а содержимое легких, способное — ежели не дать выход — разорвать грудь на части.

Тыльной стороной ладони она смахнула слезу, затем встала, загородила собой гроб и произнесла:

— Простите, я не могла не приехать...

Вечером их позвали ужинать в смежную комнату. Приглашение касалось наиболее близких покойному женщин — слепой матери, сестры, вдовы, бабки Малат, беременной москвички и двух его теток по отцовской линии, которые сидели в изножье гроба. Они встали, громко двигая стульями, и поплелись к столу. Кормили кутьей, вареной фасолью с луком, свежими огурцами и помидорами, буйволовым сыром, зеленью и горячим лавашом. Посреди стола высился глиняный кувшин с разведенным красным вином. Тетки помянули Алеша и добавили, что большой живот москвички вселяет надежду на продолжение их рода. Малат тоже помянула покойного, заметив попутно, что большой живот — вовсе не гарантия появления мальчика, однако не время чесать языками. Старухи замолчали и принялись за трапезу. Они ели молча, сосредоточенно, как едоки картофеля, глядя в тарелку и думая о своем.

Вернувшись в комнату, все расселились по местам. Поболтав немного о том о сем и поковырявшись в зубах, старухи запричитали с новой силой. Москвичке пришлось сесть на табурет, и вскоре у нее заныла спина. Заметив это, вдова предложила ей поменяться местами. Инна пересела на стул со спинкой и почувствовала, что ей гораздо удобнее. Она находилась так близко к Алешу, что видела его гладко выбритый подбородок, синие ногти на руках и сморщеные подушечки пальцев, как после горячей ванны. Рядом лежали его очки с треснутой линзой. В изножье возилась Малат — поправляла цветы и ленты. Она отобрала несколько сломанных гвоздик и кликнула кого-то. Вошел небритый молодой человек с перебитым носом, забрал гвоздики и вышел.

У входа стали собираться люди, словно бы в ожидании какого-то зрелица. Пацаны норовили пролезть вперед, чтобы лучше было видно, а те, что повзрослев, отвешивали им тумаков и прогоняли. Внезапно в дверях возник почтальон — женщина узнала его по дерматиновой сумке да по форменной фуражке. Он извлек из сумки большой коричневый конверт и что-то затараторил по-осетински. Женщина оглядела плакальщиц и увидела, что те улыбаются и туго завязывают траурные платки. Подсевшая бабка Малат объяснила ей, что почтальон не настоящий, он пришел прогнать смерть.

— Как это? — удивилась Инна.

— Плохо, когда смерть задерживается в доме, — сказала бабка. — Осеню хоронили маленькую Залинку, дочь Алеша, теперь вот самого Алеша. Загостилась смертшка.

— Что он говорит? — кивнула женщина в сторону почтальона.

— Вестимо, что. Говорит, принес письмо от Баастыра, повелителя загробного

мира, тот жалуется, что слишком много людей присыпает Смерть к нему, он не успевает их расквартировать. Сейчас он вызовет Смерть и потребует ее ухода.

Почтальон вышел на середину комнаты, поднял над головой коричневый конверт и громко произнес несколько слов. Нависла тишина. Почтальон еще раз повторил слова, а спустя несколько минут повторил в третий раз. И тогда в дверь протиснулась фигура, сплошь укутанная в ветошь, с черным платком, скрывающим лицо, с косой в руках. Она приблизилась к почтальону, заглянула ему в глаза, приведя в замешательство, и что-то прошептала на ухо.

— Она сказала, что не уйдет, пока ее не поцелует самый красивый юноша в селе, — перевела бабка.

Смерть пошла по кругу, заглядывая каждому из присутствующих в глаза, а те отворачивались от нее и с шутками да прибаутками подталкивали к выходу. Наконец она остановилась перед Перебейносом. В комнате раздались смешки.

— Она требует поцеловать ее, — хмыкнула Малат.

Внезапно Перебейнос сорвал с нее ветошь, черный платок, оставил в одном ситцевом платье с короткими рукавами, и под оглушительный смех повалил на пол. Смертью оказалась молодая девушка с русыми распущенными волосами и большими голубыми глазами. Парень прижал ее к полу и, не стесняясь, стал осыпать поцелуями. Потом они встали, а девушка, прихватив с собой письмо и реквизит, вышла из комнаты. Вслед ей полетели гневные слова:

— И не возвращайся, пока не насытишься любовью!

Бабка Малат с улыбкой бросила Перебейносу:

— Хороша девка, не забудь заслать сватов. Она будет верной женой.

Перебейнос улыбался в ответ.

После представления люди разошлись. Малат шепнула Инне, что можно вздрогнуть на диване, а сама, если нужно, уведет старух, все одно бдеть ночью.

— Не боишься? — серьезно спросила она. — Гляди, девочка, тебе скоро рожать.

Глаза закрывались сами собой, но Инна ответила твердо, что не собирается спать.

Малат испытывающее поглядела на нее, кивнула и вышла. Следом подались старухи, кряхтя и стуча палками. Вернулся Перебейнос. Он извинился и вежливо попросил женщину выйти, так как ему нужно провести кое-какие процедуры, а это неприятно видеть. Женщина стиснула кулаки и ответила, что никуда не пойдет. Молодой человек пожал плечами, затем отвернул саван, укрывавший покойного по пояс, просунул руку под него и приподнял, отчего тело немного выгнулось, стащил с него пиджак и рубашку, оставил в одной майке, и уложил обратно. Затем извлек из полиэтиленового пакета огромный шприц и четыре большие ампулы с формалином. Он отпилил головки ампул, набрал полный шприц раствора, взял руку покойного выше локтя и поднял ее, но ему было неудобно делать инъекцию.

— Зачем это? — спросила женщина.

— Уколы замедлят разложение тела, — ответил парень. — Вы не могли бы подержать его руку?

Она взяла руку Алеша, подсознательно ожидая привычного чувства живого тепла, но не дождалась и заплакала.

— Вы врач? — спросила женщина сквозь слезы.

— Да, — ответил Перебейнос и, не особенно церемонясь, вонзил длинную толстую иглу под мышку покойному. — Я по опыту знаю, что тактильные контакты после смерти непривычны, но к этому быстро привыкаешь.

— Меня мучает вовсе не страх, — неожиданно для себя произнесла женщина. — Я никак не могу поймать нить...

— Я вас понимаю. Подержите вторую руку, пожалуйста.

Ей пришлось прижать его к себе так, что Алеш уткнулся лицом в плечо, и глаз

приоткрыл — он словно ухмылялся ее усердию. Женщине стало не по себе — в ноздри ударил запах крепкой араки. Парень заметил это и, закончив процедуру, уложил покойного на место.

— У нас свои методы бальзамирования, — сказал он. — Покойному вливают в рот семидесятиградусный хлебный самогон. Хотите воды?

Женщина закивала головой, будто только и ждала, когда ей предложат попить. Он сходил и принес воды в большой эмалированной кружке.

— Спасибо, — сказала она.

— Может, позвать Малат? — спросил он.

— Нет, — ответила Инна, — я хочу побыть с ним одна.

— Хорошо, сестра, — сказал Перебейнос и вышел из комнаты.

На столике в изголовье, перед иконой, горела большая свеча, рядом стояли початая бутылка водки, три граненые рюмки, нарезанный толстыми кусками хлеб и солонка. Женщина ослабила бандаж и прислушалась к ребенку, который зашевелился в животе, стал проявлять активность, будто хотел сообщить что-то.

— Ну, тихо, тихо, — сказала она, поглаживая живот, — а то папа рассердится.

Собственный голос показался ей странным, чужим, словно звучал во сне. Так уже было с ней однажды — когда случился инфаркт с отцом и они с матерью по очереди дежурили у постели больного. В палате прилечь было негде, всю ночь она крепилась как могла, но под утро не выдерживала и засыпала в ногах у отца, прислонившись к никелиированной спинке кровати. Утром ее будила сестра, худая усатая ведьма с шаркающей походкой, она нарочно гремела судном и орала на все отделение, чтобы перебудить больных. Но однажды женщина проснулась от молчаливой суеты, огляделась спросонья и, увидев врачей, сразу же поняла, что отец умер, однако не позволила этой мысли завладеть сознанием, иначе бы сошла с ума. Она покрутила головой, разминая затекшую щеку, поисками глазами усатую ведьму и, заметив возле двери палаты ее надменную фигуру, держащую в сухих бледных пальцах свежий комплект казенного белья, спросила: «А судно вы уже убрали?» — и когда она не узнала своего голоса, сознание услужливо подсунуло ей дежурную версию происходящего — ах, да, все это сон, сейчас наступит пробуждение и все будет хорошо. Теперь глупая уверенность в том, что она тертый калач, что жизни вряд ли удастся застать ее врасплох и сделать больнее прежнего, зарезервирована для нее место в ближайшем ложе с неудобными креслами и позволила отстраненность, некий карт-бланш, хотя по сути это был самообман. Ложе предназначалось не зрителям, к тому же было бы странно считать зрителями плакальщиц, мать покойного, жену, сестру, Малат и доктора с огромным шприцем в руках, — оно было чем-то вроде зала ожидания судьбы, запаздывающей, как правило, на несколько минут, но лишь затем, чтобы позволить смерти, как лотерейному барабану, сделать еще один полный оборот в душе, вызвав спасительное ощущение сна и покоя, а затем явить реальность во всей своей обжигающей сущности.

Женщина придвинула стул к гробу и левой рукой стянула вниз саван. Странно, но бледность лица покойного, сложенные на груди руки с заметно посиневшими ногтями, разведенные в стороны ноги, обутые в дорогие кожаные башмаки, не вызывали ощущения вечной неподвижности. Впрочем, может быть, ей так хотелось думать. В сущности, Алеша она знала мало, и в этих странных отношениях, полных буйства фантазии и стихов про Осетию, ей не удалось выделить чего-то сокровенного. Знакомство их в троллейбусе на Сущевском валу настолько быстро перетекло в близость, что она даже не успела разобраться в собственных чувствах. Впрочем, так бывает довольно часто у экзальтированных особ. Женщина стала рыться в памяти, пытаясь извлечь из недр ее хоть какое-то воспоминание, связанное с ним, но ничего, кроме промозглой ночи над Москвой-рекой да пошедшей муравьками его спины, когда она полезла ему под кофту, не смогла найти.

И тогда от жалости к нему она стала усыхать и уменьшаться до размеров пташки.

Алеш приподнялся на локте, шурша новым с иголочки костюмом, усмехнулся, бережно взял ее в руки и припал к маленьким губкам, как к детской желтой пищалке в форме утенка с голубым хвостиком, и стал вдыхать в нее воздух, покуда она не раздалась до прежних размеров, и даже больше, и внезапно тяжесть в животе пропала, и божественная легкость заполнила ее сердце.

— Ты живой, — сказала она.

— Конечно, живой, — ответил он и подложил руки под голову.

— Да, живой, — она провела ладонью по его щеке, но носу и по губам. — Я помню твой запах...

— Ерунда это все, — сказал Алеш, зевая. — Лучше присмотри за сыном.

— Откуда тебе известно, что родится сын?

— Да об этом уже все знают, — хмыкнул Алеш. — Погляди на свой живот.

Женщина опустила глаза и увидела, что живота нет, и ею овладела паника.

— Нет никакого живота! — заревела она.

А Алеш потянулся и хрестнул суставами.

— Выдержишь испытание? — спросил он.

— Ради сына я готова на все.

Под утро стало свежо. Ей нужно было в туалет, и еще не помешал бы горячий душ, но об этом никто и не мечтал. Возле гроба, сидя на стульях, спали старухи. Инна и не заметила их появления. Обтянутые белой бумагой и перехваченные капроновой ниткой доски были прислонены к стене. Ей стало душно, она подошла к окну, отдернула занавеску, сдвинула на подоконнике стопку книг и со звоном распахнула настежь створку. В комнату ворвался свежий ветер и задул свечу в изголовье. В окно были видны плетень и тропинка вдоль плетня, ведущая в сад, и дальше навес. Щурясь от дыма, бабка Малат протапливалась торне, чтобы испечь лаваш. На табуретке в большом зеленом тазу под вафельным полотенцем виднелось тесто. Старухи проснулись и первым делом зажгли свечу. Они выждали малость, а потом сказали, что окно лучше закрыть — когда в доме покойник, лучше его не открывать. Женщина закрыла окно и поправила занавеску. Густо запахло свечным огарком и перченой аракой. Она огляделась в нерешительности и опустилась на краешек стула. Старухи заявили, что ежели ей хочется в туалет, то лучше сходить сейчас, а то позже будет не протолкнуться. Женщина кивнула, но для солидности решила потерпеть еще немнога. Впрочем, одна из старух, косоглазая, с коричневой тростью в руках, заметила с улыбкой, что волноваться не стоит, в деревне любой кустик — отхожее место. Они дружно заулыбались, и мятые их лица перекосились. Женщина из вежливости тоже улыбнулась, но стоило ей это немалых усилий. Ночной кошмар стоял перед глазами в мельчайших подробностях и бередил душу, да и ребенок в животе никак не хотел угомониться.

В дверь заглянула бабка Малат и поманила ее пальцем. Инна извинилась перед старухами и вышла. День занимался, солнце вставало из-за гор, и во дворе под дубом собирались люди. Возле навеса кто-то из молодых колол дрова. У ворот остановился грузовик, шофер в кирзачах скинул задний борт, и подоспевшие пацаны принялись разгружать взятые напрокат столы для поминок.

Малат сводила ее в туалет, подождала, пока та оправится, затем полила ей на руки ледяной воды и проводила в дом, из которого уже слышались плач и причитания. У гроба собралось много народа. Увидев беременную женщину, все громко заголосили. Ей уступили место в изголовье, и кто-то услужливо отдернул саван. Женщине не очень-то хотелось смотреть на мертвого Алеша, пережитое ночью не давало покоя, казалось, он вот-вот встанет из гроба, стряхнет оцепенение и засмеется на все ущелье. Старухи уже пришли в себя и выглядели довольно бодро.

Внезапно к ней подошла сестра Алеша и шепнула на ухо:

— Там привезли снайпера, иди и возьми свою кровь!

Женщина в удивлении вскинула голову и уставилась на золовку.

— Что значит «возьми свою кровь»? — спросила она дрожащим голосом.

— Не бойся, он связан, — сказала золовка.

— Не понимаю! — тряхнула головой женщина.

Плакальщицы замолчали. И тогда золовка произнесла громко, насколько у нее хватило охрипшего от плача голоса:

— Привезли снайпера, который убил отца твоего сына, иди и возьми свою кровь! Женщина в ужасе закрыла лицо руками.

— Ты хочешь, чтобы я его убила? — сквозь длинные белые пальцы просочились ее слова.

И тут она ощутила на плечах теплые ладони — то Малат пыталась ее поднять с места и вывести в соседнюю комнату. Женщина безропотно последовала за ней.

— Убивать его не надо, — мягко сказала она. — Просто надрежь ему мочку уха.

Крови много, и аdat исполнен. Хотя, конечно, он достоин смерти.

— А почему я? — спросила женщина.

— Ты носишь его плод.

— Дикость какая! — нерешительно произнесла женщина.

Малат помолчала немного.

— Глупо искать сейчас смысл в наших обычаях.

— Его убьют потом?

— Не знаю.

У женщины затряслись плечи.

— Зачем я приперлась сюда!

— Ты сама сказала, что не могла иначе. И ночью он говорил тебе о том же.

— Откуда вы знаете? — похолодела у нее спина.

— Успокойся, дочка, — пригладила ее волосы Малат. — В этом мире очень мало чего не случалось раньше. Возьми себя в руки. Представь, что делаешь кровопускание теленку.

— Что ты делаешь? — спросил художник, едва шевеля тонкокожими, как луковая шелуха, губами.

Женщина приближалась к нему короткими шажками, держа нож обеими руками острием кверху, чувствуя, как тело ее сверлят десятки пар глаз.

— Беру свою кровь, — ответила она.

— Зачем она тебе? — похолодел от ужаса художник.

— Чтобы восстановить равновесие.

Он вспомнил урок танцев в школьном спортзале. Ему семь лет, и он в паре с самой красивой девочкой школы. Толстый и низкорослый хореограф по имени Гурам-мас кричит: «Если не перестанешь жаться, то накажу. Ты что, писать хочешь? Посикать хочешь, да?» — «Не-е-е-т, Гурам-мас, не хочу», — через силу улыбается он. Хореограф смотрит на него некоторое время со злобной ухмылкой и тихо велит: «Бери под руку свою партнершу и веди в центр зала. Быстро, кому сказано!» И он берет девчонку под руку и ведет в центр зала, где баскетбольный круг. «Покажите-ка элемент украинского танца! — орет хореограф. — И-и-и, трам-там-тра-та-та-тра-таа, тари-тари-тра-та-та-тра-та!» Бегут вприпрыжку, он чувствует, что больше не может терпеть, останавливается и хнычет, а девочка тащит его дальше, тащит, и у него из-под штанины по коричневым колготкам льется теплая струя. «Вот! — покраснев, смеется хореограф. — Вот, поглядите, он все-таки обоссался! — хватает его за ухо и трясет. — Или, может быть, эта лужа натекла из форточки?» И все смеются вокруг.

Женщина оттянула мочку уха художника и полоснула острым, как бритва, ножом в том месте, где начинался хрящ, и почувствовала сопротивление, сопровождаемое негромким хрустом, будто разделяла грудинку курицы. Ей хотелось быстрее оттянуть кусок и закончить обряд, но лезвие увело ее к середине уха и

застряло. Художник при этом терпеливо сносил мучения, словно находился на операционном столе и ему удаляли опухоль.

— Долго еще? — спросил он сиплым голосом.

— У меня не получается! — раздраженно ответила женщина.

— Сейчас потечет кровь, возможно, я грохнусь в обморок, — сказал художник и подготовился падать на бок.

— Что ж ты так крови боишься? — сказала она. — Когда человека убивал, небось не боялся?

— Нет, тогда я думал о долгे.

— О долгे убивать безоружных?

Женщина задела ножом нерв, и художник ощутил онемение на всей левой части лица.

— Поверь, что для меня это было испытанием, — с трудом проговорил он и подготовился к смерти.

Она что-то делала с его ухом, но у нее ничего не получалось.

— Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? — спросила женщина. — Потерпи немногого!

— Господи! — застонал художник то ли от боли, то ли от угрозений совести.

— Только не думай, что пролив немногого крови, ты загладишь свою вину. — Она рванула ухо и оторвала его.

Руки ее были в крови, и пар шел от ее пальцев. Женщина стояла, держа кусок отрезанной у кровника плоти, и не знала, что делать.

Снайпер

Шадиману очень хотелось курить, но он терпел. Он сел под деревом, снял камуфляжную бандану и подставил ветру лысеющее темя. Приоткрыл рот и обнажив тронутые желтизной в промежности зубы, Шадиман жадно хватал воздух, и тонкие ноздри его колыхались, как крылья капустницы. Черная щетина на щеках подчеркивала голубых кровей бледность. Привычным движением он потянул ручку зажимного винта, отсоединил лазерный прицел и отбросил в сторону, насколько хватило сил. Затем быстро разобрал автоматическую винтовку «Тавор» и раскидал по кустам. Шадиман выполнил задание, осталось незаметно уйти — за Эргнети должна ждать машина — однако удовлетворение почему-то не наступало. Ошибся? Навряд ли. Долговязый очкарик в потертых джинсах мало походил на интеллигента с фотографии, но это был он. Прозрачные грустные глаза за толстыми линзами очков, еле заметная усмешка в уголках губ, бычья шея борца, а — главное — шрам на скуле. Никаких сомнений, это он. Так в чем же дело? Шадиман вспомнил все до мельчайших подробностей и понял, что очкарик подставился под выстрел. Вышел в центр футбольного поля, встал и заулыбался, как ненормальный. Кто ж так делает, как не человек, который хочет подставить под выстрел? А может, он и впрямь ненормальный — во время войны многие сдвигаются по фазе. Шадиман почудился подвох. Очкарика можно было снять и с двухсот метров, но Шадиман почему-то стал пробираться к нему ближе, пока отчетливо не увидел врезавшийся в шею ворот фланелевой рубахи и вздувшуюся жилу, и розоватый шрам на скуле, и серую роговую оправу очков. Он закричал кому-то по-осетински, что готов стоять хоть на голове, и пожал плечами. Из-за разрушенных трибун ему замахали руками, засвистели, уходи, дескать, а тот продолжал стоять. Дальномер прицела показывал 35 метров до цели. В общем-то нетрудно было и в затылок попасть, и в другой раз Шадиман так бы и сделал, но сейчас он сместил лазерную точку вниз по позвоночнику в межлопатье и

спустил курок. Очкарик обернулся на хлопок, как добродушный великан, уставился на него и засмеялся:

— Гуыржиаг!

Такие встают со сна и засыпают с идиотским выражением вселенской скорби на лице. Будто они одни постигли истину, но не могут подобрать слов для ее определения. Хлопают мокрыми от слез ресницами и мычат, как телята — му-у-у-у! К черту всех слоняев! И нехрен распускать нюни. А что очкарик вышел на площадь и подставился под выстрел, Шадимана не должно волновать. А ла герр ком а ла герр! Хотя все-таки странно. Почему тот вылез на всеобщее обозрение, да еще брови домиком, и грустная усмешка в уголке губ, дескать, презираю всех и вся, я знаю кое-что гораздо важнее страха смерти. Ерунда какая-то!

Второго дня его вызвал генерал Ашордия и спросил:

- Откуда родом, сынок?
- Из Кехви, господин генерал.
- Кто по профессии?
- Художник.

Генерал хмыкнул, помолчал немного, разглядывая холеные ногти, и снова спросил:

- У тебя мать осетинка?
- Так точно, господин генерал.
- По-осетински хорошо говоришь?
- Хорошо.

Генералу было под пятьдесят. Сухощав, с роскошной седой шевелюрой и щеточкой усов. Впалые щеки и бледность, переходящая в желтизну, свидетельствовали о проблемах пищеварительного тракта. За его спиной были песчаные сопки Афгана, усеянные вздувшимися трупами, диковинные кроны шрапнелей, катающееся под ними колесо страха, и много чего еще, что, годы спустя, взрывается пучками морщин в уголках выцветших глаз, а таящий усмешку взгляд становится пристальным и надменным. Ходили слухи, что генерал был вхож к президенту, вроде как был крестным отцом одного из его сыновей, и тот полностью доверял ему. Курсанты души не чаяли в нем, придумывали всевозможные небылицы, что, впрочем, мало интересовало самого генерала. Полгода спустя Ашордия в страшных муках умрет от рака желудка в родовом поместье восточной Мингрелии в селе Абаша на руках у красавицы жены, и последними его словами будут: «Все, женщина, конец нашему супружеству! Проклятие всем нам!» Накануне он исповедуется в генеральском мундире с позументами, со всеми своими регалиями, отцу-настоятелю Храма Никорцминда, что в Раче, объедет друзей и недругов в западной Грузии и со слезами на глазах станет молить всех о прощении, чем вызовет крайнее недоумение. Затем сядет в казенный автомобиль и велит преданному ему водителю мчать его во весь опор в город Дзау Южной Осетии — в святилище Джеруастырджи, — чтобы поставить свечку и помолиться, и в первый раз тот откажется выполнять приказание. Но это будет полгода спустя. А пока он достал из нагрудного кармана пачку фотографий, бросил на стол и, щелкнув по ним ногтем, произнес:

— Это писатель Алеш Бегаты, враг нашей с тобой Родины. Ты готов послужить Родине, курсант?

— Так точно! — отчеканил Шадиман, чувствуя, как мурашки забегали по хребту.

— Вот и чудненько, — сказал генерал. — 16-го утром писатель Алеш Бегаты выйдет в центральный круг футбольного поля в Цхинвале, остановится посреди круга и разведет руки. Твоя задача — улучить момент и застрелить его насмерть. В Эргнети тебя будет ждать машина. Все понял?

Шадиман замялся.

— Виноват, господин генерал, а если он не разведет руки?

- Все равно застришишь, это приказ. — Пауза. — Целься в голову, чтоб наверняка.
- Есть!
- И держи язык за зубами, сынок.
- Так точно!

Вечером следующего дня на тряском «хаммере» его доставили в село Прис. Отсюда до Цхинвала было рукой подать. Шадиман дождался ночи, пересек поле и добрался до подножия горы Згудер. В темноте он хорошо ориентировался. Тут любой пацан знает округу как свои пять пальцев. А Шадиман провел детство неподалеку — в селении Эредви. С двоюродными братьями на закате они ловили перепелов и собирали их пятнистые яйца. Расставив сети, ловцы выстраивались цепью и шли по полю, подсекая траву внутренней стороной босой ступни. Звук получался шелестящий — шс-с-с! Вспугнутые птицы вспархивали из-под ног, низко летели, быстро-быстро перебирая крыльышками, пока не попадали в сети. Жареные перепела под сливовым соусом — отменное лакомство. Шадиман заночевал в часовне Згудерского кладбища, перед рассветом спустился по склону горы к Цхинвалу, перешел старый мост и затаился на берегу Леуахи, среди развалин еврейского квартала. Утром же покинул укрытие, незаметно пробрался к стадиону и, дождавшись, пока очкарик разведет руки, произвел выстрел.

Его поташнивало, точно он перебрал накануне красного вина. Хуже всего, когда неприятное ощущение в груди сползает до уровня желудка и ты не можешь определить — это обычный гастрит или угрызения совести. Можно, конечно, сунуть два пальца в глотку и, вызвав рвотный рефлекс, выпорожнить утробу. Но где гарантия, что настанет облегчение? У организма своя логика. Утреннее недомогание может быть следствием как душевных переживаний, так и чревоугодия. Меньше всего Шадиману хотелось связывать эти неприятные ощущения с угрызениями совести. В конце концов, он солдат и обязан выполнять приказ. Остальное не имеет никакого значения. И все-таки, почему очкарик вел себя так, будто искал смерти? Развел руки посреди изрытого взрывами футбольного поля, как Господь, которого нарисовал Микеланджело. Шадиману довелось побывать в Риме, где он целый день посвятил изучению Сикстинской капеллы. Да, очкарик напомнил ему своим жестом розового Творца, отделяющего свет от тьмы. Разве что взгляд у того решительнее, и борода развеивается на ветру. А рядом голая задница архангела, кинувшегося выполнять поручение, да малыцы-ангелы, похожие на подносчиков теннисных мячей, выглядывают из-за спины Творца. Какого лешего он приперся на площадь? Прежде чем включить лазерный прицел, Шадиман долго вглядывался в спину очкарика, подсознательно пытаясь уловить отчаяние, которое — он знал это по опыту — через ствол идеальной машины для убийства системы «Тавор» передастся стрелку, и от того, насколько быстро прступит это отчаяние, зависит результат дела. Очкарика тряслось, возможно, от страха, но отчаяния не было. И тогда Шадимана осенило, что все это подстроено. Очкарик заигрывал со смертью, прекрасно осознавая, что у смерти громадное преимущество. Оно заключено в неизбывности, растянутой во времени. Но что время супротив разведенных в разные стороны перстов, повелевающих отединиться тьме от света? Понимал ли это очкарик? Скорее всего, нет. Он не знал, что неизбывность смерти, как ленточный червь свиньи, собрана в малый комок безвременья и уже поконится у него в кишках. Шадимана резанула эта догадка, но он не успел ее осознать до конца. Выстрел был на удивление точным — пуля попала в глаз ленточному червю и размозжила ему голову, и когда очкарик повернулся наконец к нему, пальцы его описали дугу в 45 градусов, и лицо его расплылось в улыбке.